

УДК 821.112.2-94  
ББК 84(4Гем)-44  
М85

**Моурик, Карин ван.**

М85       Перевод русского : Дневник фройлян Мюллер – фрау Иванов / Карин ван Моурик, Наталья Баранникова. – Москва : Эксмо, 2018. – 224 с. – (Проект TRUESTORY. Книги, которые вдохновляют).

ISBN 978-5-04-095814-6

Молодая немка из ФРГ решает изучать русский язык. В 1970-е, во времена железного занавеса. И с этого момента связывает свою судьбу с загадочной Россией: находит и теряет любовь, обретает дело жизни, друзей.

Эта книга – сборник биографических рассказов, смешных и грустных, честных и эмоциональных. Это свежий взгляд на нашу жизнь и историю, особенности русского характера и быта, признание в любви.

**УДК 821.112.2-94  
ББК 84(4Гем)-44**

© К. ван Моурик, текст, 2018  
© Н. Баранникова, текст, 2018  
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018

**ISBN 978-5-04-095814-6**

# Pre scriptum

Я всюду рассказывала свои «русские истории», и люди разных возрастов говорили: «Да вам надо книгу написать!»

Я смеялась, потому что знала: писать книг не умею. Но невольно, год за годом, книга сложилась мысленно. Так и носила ее в голове, пока не пришел правильный момент — а такой момент всегда наступает, если нужно: мы встретились с Наташей. И вскоре поступило предложение из России издать такую книгу.

Мы начали так легко и весело, не зная, во что ввязались, только понимая, что вдвоем у нас получается.

Но одно дело рассказывать забавные истории, приключившиеся когда-то и имевшие уже свой успех у разных слушателей, и совсем другое — поднимать темы противостояния, которые совсем не хотелось поднимать. Я боялась Наташи и ее вопросов. Но она меня понимала и чувствовала то, что чувствовала я. Мы глубоко и откровенно обменивались мнениями, но иногда, когда говорили о чем-то незначительном, она вдруг вскрикивала: «Это же ключ к главе!»

Все, что проходило через ее творческое восприятие, через ее острый ум, являло мне другую сторону медали, которая раньше мне не открывалась. Благодаря ее выводам я смогла по-другому взглянуть на некоторые ситуации своей жизни, иначе воспринять людей, пре-

вратившихся в рельефных персонажей, и главное — Наташа помогла мне понять маму. И постепенно смириться с тем, с чем, думала, никогда не смирюсь.

Получилась человеческая книга. Здесь нет «потемкинских деревень» и выдумок, за исключением вымышленных имен для большинства персонажей. Многое из того, что здесь написано, может показаться чересчур наивным, невыгодным для моей «персоны». Но в этом я вижу самую суть.

Теперь дневники, архивы, фотографии — все отправляется на чердак, потому что я знаю: все в этой книге.

*Карин ван Моурик*

Мы подружились с первого слова.

А потом схлестнулись в пылу подготовки речи на русском языке, которую Карин должна была произносить с высокой трибуны в Петербурге, и уже не расставались. Сколько раз я ловила себя на том, что не могу поверить в то, что она — немка, немецкая немка из Германии! Однажды мы ехали в машине по Эльзасу, распевая вдвоем: «Под небом голубы-ы-ым... есть город золото-о-ой...», и я думала: «Господи, это ж абсурд, я еду по Франции, с немкой, которая знает наизусть эту песню...»

Мы встречались в кафе, в ресторане, за завтраком, за кофе, за чаем, за ужином или обедом, сидели на скамейках парков, на решетчатых садовых стульях, на всевозможных диванах и просто на полу, я приезжала к ней, и она приезжала ко мне, мы хохотали и плакали... Однажды апрельским ярким утром она приехала на вело-

сипеде, и, как только я открыла ей дверь, я увидела, что она озарена какой-то радостью, а в глазах ее включился тот свет, который я люблю. Она воскликнула безо всякого приветствия: «Я сейчас ехала и думала: какое счастье, что мы встретились!!! Ты понимаешь?» Она трясла меня за плечи и глядела своим синим светом мне в глаза: «Ты понимаешь, понимаешь?!» — и одновременно крутила головой, будто отрицая свой вопрос, будто не веря, что я способна это понять...

Когда она говорит по-русски, в ней словно просыпается другое «я»: более нежное, более ранимое, то, что удерживается строгими рамками немецкого, его четкими, прерывистыми интонациями и хрипящими согласными. Когда она говорит по-русски, ее темперамент вырывается на волю и... наслаждается свободой!

*Наталья Баранникова*

# Оглавление

Pre scriptum	5
Оглавление	8
Как я решила изучать русский	10
В Музее обороны Ленинграда	13
История любви	16
Когда русские придут	19
Ой, цветет калина...	22
Смятение	26
Елабуга	30
От станции Любовь...	34
Свадьба в черном	39
Мед и деготь	46
Сметанные облака	52
Эйфория длиною в год...	57
...и ее блистательный крах	62
Луораветлан	69
Комната страха	74
Почтовая карточка военнопленного	80

Гранитный памятник русскому абсурду	90
Баранина и конина	96
Кинжал офицера Вермахта	103
Шахматный этюд	111
Орфей спускается в ад	117
Еврейский вопрос, или Исповедь изнасилованного мозга	122
Золотая моя Москва	125
Силиконовая Калифорния	134
Цвет разума	142
«Русская зима» во Фрайбурге	149
Как Ленин указал мне путь	156
Транссибирский кошмар	160
Под ключ	175
Ангел мщения	181
Шерше ля фам	188
Взаимное невежество	197
Пианино	202
Вторая благая весть	207
Für immer	214
Об авторах	219

Как я решила  
изучать русский  
(1975)

Ничего я не решала. Все как будто за меня решили. И почему — бог весть.

И правда, как будто была мне весть. Хорошая весть, как в России говорят — благая.

Ко мне ангел, увы, не являлся, но я точно не приняла решения изучать русский язык со всеми вытекающими из этого последствиями.

Все русское представлялось мне тогда загадочным и покрытым тайной, а потому привлекательным. Мороз. Шуба. Сани. Тройка. Фильм «Доктор Живаго», который я посмотрела десять раз. В темных влажных глазах Омара Шарифа, выразительно живописующих страсть, нежность, сострадание и отвагу, мне виделась вся благородная Россия, а русская революция в моем сознании обретала чуть ли не романтический облик. Непостижимо огромный Советский Союз за железным занавесом если и вызывал во мне страх, то почти священный.

И одна лишь фраза, которую произносил во сне и наяву отец, бывший военнопленный: «Когда пускаете домой?» — была мне хорошо знакома с детства... как набор звуков.

Я без памяти любила французский, поэтому хорошо на нем говорила и мечтала стать переводчиком (тогда, в 1975 году, и больше *никогда* не испытывала я этого

желания — быть переводчиком!), чтобы владеть им свободно, не задумываясь, чувствуя себя как птица в небе, говорить на нем, купаясь в его мелодиях и заимствуя для себя его элегантность... смягчая свою немецкость.

Для того чтоб учиться избранной профессии, мне нужно было покинуть родной город. Родители же, испытывавшие в то время материальные трудности, просили меня этого не делать.

Ну что же. Учась французскому во фрайбургском университете, я могла рассчитывать только на карьеру учителя — а это мне совсем не нравилось.

А еще одним обязательным иностранным языком стал для меня английский, который уже тогда снискал сомнительную славу «инструмента общения». А я его не любила, не любила — и точка. Откуда берутся в человеке подобные капризы и на чем порой основано то или иное рассуждение — мы и сами иногда не можем объяснить.

Не знаю, за что я на него злилась, на английский, но надо признать: благая весть упала на меня сверху именно во время лекции по английской литературе! С нетерпением дождавшись ее окончания, я пошла в секретариат и записалась на факультет славистики.

За обедом я сообщила родителям о своем намерении изучать русский.

Родители не упали только потому, что сидели. Они продолжали некоторое время сидеть молча и даже есть, но воцарилась такая тишина, что звякнувшая о тарелку вилка прозвучала колоколом. И мне не лезла в горло эта печенка — она и так никогда не лезла! Мне показалось, что родителям меня жалко, а мне было жалко на них смотреть.



Они заявили, что у меня нет будущего. Что учить русский — безумие! Но безнадежность ситуации, я понимаю, была в том, что мама с папой знали, что переубедить меня невозможно.

Я отнеслась к непониманию со стороны родителей с удивительным спокойствием, как относятся к тому, что является самим собою разумеющимся: к осеннему затяжному дождю или непроглядному утру в январе... Хотя и скулит душа сквозь это спокойствие!

Идея изучать русский до того меня встревожила и вдохновила, что я не имела сил дожидаться полгода, пока начнется новый семестр, и записалась в русский хор — был такой в университете города Фрайбурга.

*Родители не упали только потому, что сидели. Они продолжали некоторое время сидеть молча и даже есть, но воцарилась такая тишина, что звякнувшая о тарелку вилка прозвучала колоколом.*

Я пела «Во поле березонька стояла...», разучивая тексты по транскрипции, написанной от руки латинскими буквами, не понимая содержания, но очаровываясь своей авантюрой все сильнее и сильнее.

Да что родители! Даже профессора в университете не стеснялись в лицо говорить об отсутствии будущего у нас, студентов, дерзнувших изучать русский! Мы знали, что в Советский Союз никто не едет. А если едет — не возвращается.

И, стоило мне только подумать о своем будущем, в моем сознании возникала картина из фильма «Доктор Живаго»: занесенные снегом рельсы, оканчивающиеся в чистом поле.

## *В Музее обороны Ленинграда (1977)*

Я до того привыкла к тому, что моей нацией, поколением моих родителей, был совершен тяжкий грех, что тащила на себе эту вину кротко, как неизбежность. Сбросить ее, поставить в уголок и вздохнуть облегченно — не представлялось возможным. Вина была очевидной, расспрашивать было запрещено, петь народные песни — неприлично... В общем, позитивных чувств к немецкому народу у меня не было, а была только неловкость от ощущения себя немкой.

Мы (мы — это западные немцы моего поколения) до сих пор страдаем этим чувством, когда ясно, что ничем не окупишь содеянного и ничего не сможешь предложить взамен. И тот факт, что ты лично ничего дурного не сделал, тебя никак не спасает. Что чувствуют другие — не знаю, но у меня сложилось впечатление, будто немцы восточные ничем подобным не терзаются, словно им была дарована индульгенция за то, что взяли курс на коммунизм. Словно все забыли, что *до того* мы были одной страной, в которой все началось!

Шел семьдесят седьмой год. И вот я, красивая своей юностью, серо-голубыми глазами и льняными волосами (но, несмотря на молодость, уже тогда будучи богатым материалом для диссертации по психологии на тему «комплекс вины»), впервые в Советском Союзе, в Ленинграде, — я была очень рада, что оказалась в группе

швейцарских студентов, приехавших для изучения русского, и о моем происхождении знали лишь доблестные гиты-комсомольцы, приставленные приглядывать за нашей компанией.

Я не шифровалась как шпион, но швейцарская группа служила мне определенно прикрытием, и гуляла по Ленинграду в относительном спокойствии, пока группе

*Строки, написанные пером на моем родном языке, словно обрадовались, что их поняли. Я читала жадно, перечитывала снова все, что можно было разобрать, в ощущении приближения к какой-то разгадке.*

не предложили экскурсию в Музей обороны Ленинграда, который размещался в бывшем бомбоубежище.

Здесь-то мне и рассказали впервые про злодеяния фашизма, про блокаду, о которой я не знала ровным счетом ничего, про все, о чем молчали у меня дома, на родине, а экскурсовод, думая, что перед нею швейцарцы, не стеснялась в выражении чувств к фашистам.

В бомбоубежище имитировались взрывы. Стены сотрясались, в коридорах мигали, покачиваясь, лампочки. Страшные артефакты и фотографии проплывали у меня перед глазами. В одной комнате за стеклом находилась форма и каска немецкого солдата, которого убил отважный мальчик, герой. Ему удалось убить многих фашистов, потому он и был героем. Я прочитала, что убитый солдат звался Ханс, было ему девятнадцать лет, а родом он был из Швабии. Глотая невольно все, что говорила экскурсовод, я стояла и тупо рассматривала мелкие подробности трофеев: пуговицы, нашивки на форменной одежде, царапины на ремне, цифры на металлическом номерке... и увидела выглядывающее из кожаного планшета письмо.

Строки, написанные пером на моем родном языке, словно обрадовались, что их поняли. Я читала жадно, перечитывала снова все, что можно было разобрать, в ощущении приближения к какой-то разгадке. Письмо было от матери Ханса; писала она его, наверное, поздним вечером на чистенькой кухне, уложив младших детей спать... Война не добралась до Швабских гор, было тихо-тихо, только маятник часов мерно качался. Поэтому письмо ее было преисполнено надежды, что любимый сын вернется домой. И шлет она ему теплые носки, которые сама связала. Носки были там же, среди трофеев, — или мне это уже кажется...

Вещи Ханса молчали под стеклом. И я стояла молча, как соляной столб, среди негодующих, осуждающих, сочувствующих и разумом была с ними, а душа моя — там, под толстым музейным стеклом, металась и кричала — никто не слышал.

Тут и явилась мне разгадка — моя идентификация. Здесь, в ленинградском бомбоубежище, осознавая весь ужас, который творила моя нация, я поняла, что все же принадлежу Хансу и моему народу. Я — немка.

И словно свет пробился сквозь низкие грозовые тучи, сквозь рыдание дождя.

## *История любви* (1977)

Дело было так. Мы встретились в первый же день моего пребывания в Ленинграде, а лучше сказать — в первые же часы. Прямо на улице — бац! Вот так мчатся двое по своим делам — и это совсем не романтично: у него были в этот вечер свои заботы, у меня — свои... Моей заботой было догнать группу, которая отправилась в столовую ужинать, а я замешкалась и опаздывала. И так уже все опоздали — только что приехали из аэропорта и разместились, но ужин все же нам подали, хоть и не в свой час. И вот бегут двое, совершенно не романтично, и — бац! И все становится голубым и зеленым!

Я устремленно шла дорогой от общежития до столовой, расположенной в отдельном здании, шла как ледокол, когда он подрулил на своем легком велосипеде.

Он спросил меня что-то про подъезд какого-то дома — не подскажу ли я? И улыбался до ушей. Может, он сразу понял, что я ничего не подскажу, потому и улыбался. Я была иностранкой от головы до пят. А моя походка! Я и теперь за километр узнаю по походке русскую женщину: маленький шаг, мягкая поступь. Я так не умею.

«Не подскажете, где такой-то подъезд?» — ха!

Впрочем, если б он спросил: «Не подскажете, где тут планета Венера?», то я все равно стала бы ему отвечать — он был совершенно очарователен!

Он изобразил удивление, услышав мой акцент. Хотя удивиться следовало мне, потому что он вдруг перешел

на немецкий (который, впрочем, был гораздо хуже моего русского). Но я не удивилась: подумаешь, немецкий, вот я — я говорю по-русски!

Он оставил мне номер своего телефона, торопливо записывая цифры непонятно чем непонятно на чем, предлагая свою помощь в качестве экскурсовода, в качестве учителя по русскому языку, в качестве ангела, который решит любую меня настигнувшую проблему... научил меня довольно сложной фразе: «Позовите к телефону Дмитрия!» — и уехал, звякнув велосипедом.

Вот так обычный день с его обычной бегом вдруг становится романтическим воспоминанием.

Воспоминание было приятным, этот молодой человек был безо всякого преувеличения похож на Алена Делона, и голубая рубашечка была на нем такая... отглаженная.

Фразу я выучила (глупая старательность во всем), но звонить, конечно, не стала.

Прошло пять дней! Всякий раз, направляясь той же дорогой на ужин, я невольно искала его глазами. Но мне даже не приходило в голову, что ужинаем мы в шесть часов, а не в восемь, как в день приезда.

И как только, отужинав, я уходила с этой тропы, на нее вступал Алел Делон — и ждал. Каждый день.

Когда я увидела его на том же месте, с тем же велосипедом, с тою же сияющей улыбкой — я поняла, что и я его ждала. На сей раз я не отбилась от группы, со мною была веселая компания студентов — пришлось ему всех

*Долгую зиму дре-  
мал город в ле-  
дяной мгле, лишь  
поздними вечера-  
ми взрывая кон-  
цертные залы и те-  
атры неутолимыми  
аплодисментами,  
а к лету пробуж-  
дался — и не хотел  
ночами закрывать  
глаза...*

приглашать на прогулку по Ленинграду, и он был мил и щедр!

Студенты — народ понятливый и чуткий, никто, кроме меня, на свидание с Дмитрием не явился.

А город! Город имел аристократические дворцы и мрачные подворотни, хранил культурные тайны и носил имя вождя революции. Красота его соборов смиренно сожительствовала с прямоугольностью партийных лозунгов.

Когда темнело, вместо привычной рекламы загорались неонами только лишь простые слова, которые было легко читать и приятно узнавать: хлеб, молоко, рыба — ожившие слова со страниц моего учебника. Желтый свет фонарей разливал по улицам уют и покой — но странный был этот покой, не тихий, нет, а молчаливый, как старец. Долгую зиму дремал город в ледяной мгле, лишь поздними вечерами взрывая концертные залы и театры неутолимыми аплодисментами, а к лету пробуждался — и не хотел ночами закрывать глаза...

А Митя — он как будто был вылеплен из всего, что мне нравилось в русских песнях, стихах, картинах... И ничего, что он был не богатырь в косоворотке, а Алэн Делон — с фигурой пловца!

Ленинград был к нам ласков: гулять по городу было так хорошо! Полуподвальный ресторанчик, поцелуй на скамейке в парке — эта романтика была бы вполне банальной, если б ее не окутывал флер авантюры! Ведь правила поведения, предписанные Мите как строителю коммунизма и мне как гражданке империалистической страны, были довольно строгими — о, с каким упоением, с каким восторгом мы нарушали их!

Так бывает только в юности.